
Д. К. ЩЕРБАЧЕВ

**СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
«ГРУПП СМЕРТИ» КАК КАТАЛИЗАТОР
СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
ДИСКУРСА СМЕРТИ**

В данной статье предпринята попытка философско-антропологического рассмотрения ситуации всплеска подростковых самоубийств в связи с деятельностью так называемых «групп смерти». В ответе на вопрос о травматичности данного события для российского публичного пространства возможно выделение нескольких пластов. Базовый пласт связан с проявившейся неспособностью родителей видеть в своих детях субъекта в смысле его инаковости и суверенности, Другого – родительской склонностью к поддержанию фиксированного воображаемого порядка, не допускающего дистанции. Более специфический пласт возмутительности определен как следствие системной деградации дискурса смерти в российском публичном пространстве, подменой тематики смерти, в отношении которой дети демонстрируют открывшийся субъективный план. Третий, важнейший пласт связан с тем, что в так называемых «группах смерти» вопреки заявленной в названии тематике смерть была представлена лишь в затирающем ее сущностные черты квазидискурсе, функционально сводившемся к осуществлению власти.

Ключевые слова: «группы смерти», самоубийство, философская антропология, подростки, событие, смерть, философская антропология.

This article seeks to address the issue of growing number of teenage suicides in connection with the so-called 'death groups' from the philosophical-anthropological point of view. It seems possible to single out several layers in estimating the harm inflicted by this to the Russian public space. The basic one is tied with the parents' incapability of seeing their child as a subject in terms of his or her otherness and sovereignty and with parents' tendency to maintain a fixed visible order with no personal distance presumed. Yet another, more specific layer of outrage is determined (due to the degradation of death discourse in the Russian public space) by death topic where children demonstrate a revealed subjective plan. The third and the most important layer is connected

with the fact that in the so-called 'death groups' death was presented only in quasi-discourse, erasing its essential characteristics and functionally expressed in exercise of power.

Keywords: *'death groups', suicide, philosophical thanatology, adolescents, event, death, philosophical anthropology.*

Не так давно российское публичное пространство сотрясилось по поводу так называемых «групп смерти». Проводились эфиры, выходили публикации, было множество яростных обсуждений. Стоит упомянуть хотя бы нашумевшую публикацию Галины Мурсалиевой в «Новой газете», во многом благодаря которой эта тема и вошла в публичное пространство [Мурсалиева 2016]. Именно в ней было заявлено о связи резкого роста числа самоубийств и попыток самоубийства детей и подростков в России с деятельностью «групп смерти». Статья вызвала бурное обсуждение не только самой постановкой проблемы (до того случаи детского и подросткового суицида в публичном пространстве если и рассматривались, то преимущественно изолированно) и общим стилем изложения с чрезмерной, по нашему мнению, патетичностью, но и предлагаемыми автором решениями или, скорее, общим направлением решений данной проблемы – увеличением степени контроля. И со стороны родителей по отношению к поведению детей, в особенности в Интернете, и в целом со стороны общества/государства (различия в статье не проводится) по отношению к происходящему в Интернете.

Хотя в задачу нашей статьи и не входила полемика с Мурсалиевой, мы, как будет видно далее, считаем такое направление контрпродуктивным. Сейчас нас интересует другое: что же, собственно, случилось?

Нет ясности, что конкретно произошло, но то, что произошло что-то существенное, очевидно по болезненной реакции. Иными словами, случилось событие; а событие, как мы знаем из работ А. Бадью, для своего конституирования, опознания себя в качестве события на пространстве множественности требует актора «вмешивающейся интерпретации» [Оришева] – субъекта. Во многом в том виде, в каком оно себя показывает, событие и конструируется суммой усилий множества субъектов, пусть и совершаемых в раз-

ных направлениях и с разными мотивами (событие и субъект находятся во взаимозависимости). Но оно не редуцируется до них: грубо говоря, событие не возникает на пустом месте, оно вырастает из «рассогласованности» и «избытка» ситуации.

Сложившийся смысловой ландшафт ситуации оказывается прорванным. Люди ошарашены, смотрят друг на друга и спрашивают: «Что это?», «Как с этим жить?» Перформатив этих вопрошаний происходит из страха перед разрывом, в этих вопросах нет смысла, они по сути являются жестами и вскриками. Покой бессубъектной повседневности, обжитого пространства смысловых координат оказывается более невозможным: по выражению Ф. И. Гиренка, «событие обесмысливает смыслы» [Гиренок 1999] – этим оно травматично. Возникает потребность в том, кто сможет лишить событие его событийного состава, травматичности – сшить разрыв, предложить новую перспективу ситуации, выявить противоречивые отношения в ней и скрытые области, как бы «оседлав» событие в его трансцендирующей функции. Но проблема заключается в том, что эта позиция «сшивающего субъекта» имитируется, профанируется, что приводит к пустому говорению, засорению пространства коммуникации различными симулякрами.

Представляется, что именно это и происходит в связи с так называемыми «группами смерти». Философского осмысления случившегося (а роль такого «сшивающего субъекта» требует именно философа как актора беспроектной деятельности, позволяющей открывать новые пространства смыслов) практически не было предпринято (в качестве исключения можно привести разве что статью Айтен Юран «О чередности самоубийств подростков» [Юран 2012], о положениях которой будет сказано в дальнейшем). Данный текст как раз и является скромной попыткой сыграть на поле такого «ангажированного истиной события» [Оришева] субъекта. Попытаемся задать такие координаты, которые позволили бы событию проявить существенное в сложившейся ситуации. Ответить на вопрос о том, почему случившееся травматично.

Но что, собственно, случилось? Абстрагируясь от спекуляций, сформулируем суть так: «Наших детей склоняют к самоубийству». Почему это является возмутительным, проблемным? Несмотря на

кажущуюся очевидность ответа, рассмотрим этот момент подробнее. Выделим разные пласты этой возмутительности.

Во-первых, это родительское возмущение от самого факта вторжения в пространство семьи, в область, где, как казалось родителям, они обладают полной суверенностью (о степени негативности восприятия любого вторжения извне во внутрисемейные отношения в нашей стране говорить не приходится). Родители жили в уверенности, что знают своих детей, что все будет идти своим чередом в сложившемся порядке. Уместно здесь бегло вспомнить концепт воображаемого порядка Ж. Лакана и разведение других («маленьких других» – *autre*) и Других («больших Других» – *Autre*).

Их принципиальное разделение было введено Ж. Лаканом в семинарских занятиях 1955 г. «Маленький другой» – проекция Я, отражение, ставшее возможным после стадии зеркала. Проекция в духе гуссерлевской аппрезентации: Я додумывает, выстраивает других как членов собственного воображаемого порядка, проекта – они имеют там место, по сути, лишаясь субъективности; «маленький другой» собственно другим и не является. «Большой Другой», напротив, предполагает измерение радикальной инаковости, внеположность воображаемому порядку. «Маленькие» другие отсылают к нему, но стоят у него на пути, заслоняют его. Другой оказывается неведомым измерением других для говорящего: «Язык одновременно укореняет субъект в Другом и отчуждает его от Его инаковости» [Мазин 2004], позволяя вписывать в воображаемый порядок. Большинство коммуникаций неадекватно ввиду непризнания за другими измерения Других. Можно привести яркий пример из литературы, возвращающий нас к теме текста: бабушка Нина Антоновна из «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева всячески отрицала за собственным внуком измерение Другого, суверенность субъекта, действуя из убежденности, что его благо ей известно лучше (это и есть встраивание в воображаемый порядок) [Санаев 2009].

Именно эта инаковость, как правило, не предполагается родителями. Довольно часто, что весьма прискорбно, ребенок воспринимается как нечто абсолютно послушное, в качестве продолжения. Показательна цитата А. Лоуэна: «Ребенок – часть ее (матери) тела, которая теперь должна жить независимой жизнью» [Лоуэн 1999].

Но вдруг этот иллюзорный порядок разлетается: ребенок заявляет о своих правах на субъективность, контактируя с кем-то по совершенно неожиданным для родителей мотивам или, в худшем случае, радикально заявив свою субъективность в жесте самоубийства. Его акт «предстает абсолютно пустым жестом, увековечивающим того, кто совершает этот акт, как и подобает самоубийству» [Юран 2012]. Айтен Юран так раскрывает основной мотив этого акта: «Лакан говорит о тяге к самоубийству субъекта в позиции нежеланного. Нежеланный субъект – тот, кому не пришлось обнаружить себя в поле очага материнского желания. Быть может, смерть – это единственная возможность стать в отношениях с другими увековеченным знаком? И не идет ли речь о невозможности занять место подле другого, будучи признанным в качестве субъекта, а не объекта во всей сопутствующей логике отчуждения?» [Там же].

У детей внезапно обнаружилось второе дно. К отдельному, второму пласту возмутительности отнесем вызов того, по поводу чего это дно, инаковость, открывается. Ребенок контактирует с Другими, и не просто контактирует, а контактирует на тему смерти. Попытки говорения о смерти вообще, даже со взрослыми, воспринимаются чаще всего крайне негативно. Как такового дискурса смерти в российском публичном пространстве сейчас нет. Этот момент раскрывал еще М. Хайдеггер: «Публичное толкование говорит: “Человек смертен”, потому что тогда любой и ты сам можешь уговорить: всякий раз не именно я, ведь этот человек – никто... Уже “мысли о смерти” считаются в публичности трусливым страхом, нестойкостью присутствия и мрачным бегством от мира. Люди не дают ходу мужеству перед ужасом смерти... Обыденное бытие-к-смерти есть падающее постоянное бегство от нее» [Хайдеггер 2003]. Публичность, *Man* – не Кто-то, а Никто, а ее Никто не может умереть. Публичность по своей сути противна смерти. В XX и XXI вв. смерть и вовсе вознамерились убить разными путями. Сначала, парадоксальным образом, через ее тиражирование (Э. Фромм называл это насаждением некрофилии), превращение в инструмент человека-титана тоталитарных режимов. Их герой утверждал общее бессмертие, ничтожа единичную смерть. Зазор между одним и другим снимался в блеске общей идеи, смерть была только героической (либо позорной, и о ней полагалось стыдливо

молчать), за идею, а значит, смерти не было вовсе: идея продолжала жить в других, факел подхватывали другие руки. Индивидуальное блекло в общности идеи, ею снималось («Я умру, но дело мое живет»). Нечто противоположное воззрениям Ж.-П. Сартра времен «Бытия и ничто», когда смерть означала переход в собственность других, в монолитное, тем самым все субъективное оказывалось растасканным и изнасилованным, превратно истолкованным; твое дело / твой проект в принципе не может жить помимо тебя.

Затем, после войны, оголенную конечность крадут, не показывают, маскируют, радикальнее – стараются расщепить. По свидетельству философа-танатолога С. В. Роганова, в «общем дискурсе», в толках, ее скрывают за кластером разнообразных процессов. «Некогда неделимое, недоступное, унитарное событие смерти – мгновение абсолютного исчезновения человека, рассыпалось под ударами новейших биомедицинских технологий и превратилось в кластер процессов, – социальных, индивидуальных, психологических, физиологических. Кроме начала и конца, процессы имеют направление развития, то есть возможную обратимость, и в этой возможной обратимости процесса “смерти” в культуре позднего постмодерна открылась скрытая пружина развития человека последних двух столетий, – псевдо-бессмертное ускользание “из” или “от” собственного конечного/предельного мира» [Роганов 2008]. Разве что мы не согласимся с Рогановым в том, что «ускользание» является недавним изобретением: «ускользание» через пролонгацию было и раньше. В противовес мистике с ее апофатикой бытовало расхожее представление о загробной жизни как о ином месте продолжения земной (хождение по облакам, беседы с близкими, ласки гурий и пр.), которое сейчас преломлено в вульгарной антирелигиозной пропаганде. Оно всегда сопровождало расхожую понятливость культа; потенциальная бесконечность (в смысле гипотетической возможности прибавления единицы), если не вдумываться, кажется более доступной для понимания, чем актуальная.

Культ так или иначе, если воспроизводить логику П. А. Флоренского [2004], выстраивался вокруг символов, связующих с некой бездной, – оказывался тем, что о смерти, о конечности человеческого удела при неопределенности мира, о безосновности и суете. Смерть оставалась «на виду» – кто хотел, тот брал, имелись

дискурсивные инструменты. С омертвлением же культа до культуры «ускользание» вышло на первый план, вытеснив смерть куда-то на периферию как нечто, в целом не поддающееся рационализации – скорее, в хабермасовском, а не веберовском смысле («под “трудом”, или целерациональным действием, я понимаю или инструментальное действие, или рациональный выбор, или их сочетание» [Хабермас 2007]). Собственная смерть – вне поля эмпирического знания. Смерть превратилась в маргиналию, пометку на полях, влача жалкое существование по кабинетам психотерапевтов. Образ псевдобессмертия, возникший из представления об обратимости процессов кластера, в качестве которого смерть ныне чаще всего рассматривается, одолел дряхлую христианскую вечность. Отсутствие дискурса смерти не мешает ей быть на поверхности пространства публичной коммуникации, она – практически в каждом фильме или газете. О ней просто не говорят, не развивают тему.

В «группах смерти» мало того, что вроде как (на имитационный характер этого говорения внимание будет обращено ниже) говорят о смерти, так еще и говорят о ней с детьми. Почему это оказалось востребовано? Не воспринимая детей в качестве субъектов, втискивая их в узость воображаемого порядка, взрослые часто отказывают детям в праве вопрошания о смерти, ибо сами вопрошать о ней они не склонны. Между тем тема смерти является одной из самых соблазнительных, что фиксирует в своем тексте Айтен Юран: «Кстати, вообще есть ли они сегодня, эти слова о смерти? Понятно, что они всегда даются с трудом, и тот, кто работает с детьми в психоаналитической клинике, слишком хорошо знает, что основные вопросы юного субъекта вращаются вокруг темы рождения, смерти и сексуальности. Пожалуй, вот они, зияющие дыры символического порядка, настоятельно требующие заполнения, осмыслений посредством слов, идущих от другого. “Кто я?” – это основной вопрос, ответом на который является сама субъективность; с ним связана целая россыпь иных вопросов: “откуда я”, “если я когда-то появился, значит, меня не было до этого”, “значит, меня может не быть, а значит, я могу умереть”? Вопрос о рождении перетекает в смерть, и наоборот» [Юран 2012]. Тема смерти является одной из основных, если не основной для субъективации, пусть даже и через умолчание.

Особенно соблазнительной она будет для тех, кто болезненно чувствует нехватку своего, суверенного, мается от давления Других. Другие – в моей плоти и крови, но я не только это, а что-то «кроме». Они проговорились и дали мне путеводную нить, увязанную на это «кроме», – истину моей конечности. Смерть выступает определителем бытия, тем, что его конституирует. Человек открывает это для себя и в зависимости от множества факторов старается держаться ближе или дальше от этой истины, в любом случае он обречен умирать, а не, по различению М. Хайдеггера, околевать, как животное. «Сегодня я хочу говорить с вами как мертвый с мертвыми. То есть откровенно», – так начинал свой монолог герой фильма Константина Лопушанского «Письма мертвого человека». К онтологической соблазнительности этой темы добавляются пышные образы интриги, тайны, вызванные недосказанностью современной массовой культуры и молчанием родителей. Сакральность смерти смешивается с грандиозностью сопутствующих образов. Ранний подростковый возраст, в котором происходит резкое усиление потребности в собственном, предполагает сильную жажду при отсутствии навыков, необходимых для сепарации того, что предлагается для ее удовлетворения, по качеству.

С этим связан третий слой возмутительности произошедшего. В «группах смерти», соблазняющих детей темой смерти, о ней не говорили. Был развернут квазидискурс, на поверхностном уровне имитирующий разыскание о смерти, пользующийся сакральностью, востребованностью данной темы, но в действительности являвшийся дискурсом власти. И это, на наш взгляд, является самым страшным. Завлекая вечной темой, руководители данных групп практически сразу пресекали всякое размышление о ней, попытки выстраивания какой-то понятности, а сразу насаждали готовую, ущербную и деструктивную. Она не только не предполагала какой-то внутренней работы, размышления, но противилась всякой его попытке даже на лексическом и синтаксическом уровнях (рваные и примитивные тексты, говорение императивами; даже само слово «смерть» чуть ли не табуировалось, заменяясь на эвфемизмы типа «выпилиться», «ливнуть», «откинуться» и пр.). Использовались пышные, грандиозные образы, вырванные из различных контекстов от священных текстов религий до русского клауд-рэпа. Используемые таким образом символы никуда не вели, формируя поверх-

ность. От них осталась лишь оболочка отсылки к некоей Тайне, что позволяло им выполнять функцию «блестки». Быстро сменявшие друг друга пестрые образы, сводившиеся в целом к трансгрессии как переходу к тотальной свободе от насаждаемых извне проектов, прятали вытекающую из смерти конечность на поверхности, делая ее незамеченной; служили легкодоступным материалом для идентификации себя в нарциссической грандиозности, снабжали приятной глубиной.

Исключительность смерти затиралась, и она попадала в ряд событий наравне с сексом и тусовками, получала обычность. Ужас смерти как непоправимого из навязываемой перспективы оказывался недоступным. В какой-то момент данный квазидискурс и вовсе вырождался до чистой суггестии, в аспекте которой самоубийство было лишь очередным заданием. Дискурс этих групп предполагал заведомо неравные статусы в коммуникации, власть и подчинение ребенка. Сначала последний, находившийся в поиске ресурсов для самоидентификации (в положении болезненной нежеланности), соблазнялся темой, ореолом тайны, затем его цепляли, как крючками, угрозами (с позиции анонимного всезнающего субъекта; назывались адреса жительства, информация о родителях), затем коммуникация сводилась до суггестии, выполнения приказов. На место довлеющих родителей, не дающих пространства для выражения субъективности, приходит новый Закон, подчиняющий тотально – вплоть до приказа убить себя. Властный дискурс становится дискурсом полной власти тогда, когда в нем возникает смерть; полная власть – доведение до самоубийства.

Все сказанное заставляет нас вернуться к приведенной выше цитате Айтен Юран, в которой самоубийство рассматривалось как единственная возможность стать «увекоченным» другими, обрести желанность хотя бы в качестве потери, раны. Наконец, лакановское утверждение того, что «самоубийство – единственное, в чем можно преуспеть, не заплатив за это ценой неудачи» [Лакан 2000: 74]. Все это справедливо, но имеет смысл при условии, что субъект сознавал «специфичность» самоубийства, необратимость акта, связанную с сознанием конечности. Иными словами, при условии, что он понимал, что идет на самоубийство. Едва ли все это можно отнести в полной мере к погибшим детям; ввиду суггестивности дискурса самоубийство не могло быть ключевым отча-

янным жестом, конституирующим субъекта. У детей украли собственную смерть, вынуждая их покончить с собой в качестве выполнения последнего задания, за которым, как им обещали, начнется подлинное существование. Конституирования субъекта так и не случилось, одна власть сменилась другой, более жесткой и бессмысленной.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что так называемые «группы смерти» носили ярко выраженный антифилософский характер; в «группах смерти» не было собственно темы смерти. Был развернут суррогат, на поздних своих витках сводящийся к неприкрытой суггестии. Случившееся стало возможным ввиду проблемы деградации дискурса смерти, степень которой дошла до критических значений. Эта проблема деградации дискурса смерти системна, так как она прослеживается на самых разных уровнях, плавно переходя с одного на другой, что стало явным в реакции на случившееся событие, выступившее катализатором. На уровне внутрисемейных отношений не было возможности адекватного разговора о смерти родителей с детьми. Разговор о конечности, смерти, если не сводится к повторению штампов, всегда касается некой неопределенности, зыбкости. Пред ней все равны, таков человеческий удел, никто не обладает привилегированным положением, неким знанием (по понятным причинам мы не касаемся здесь плодов переживаемого в мистическом экстазе; речь о знании, путь до которого логичен, а значит, потенциально доступен каждому). Но отказаться от позиции обладающего знанием сложно, это грозит потерей устойчивости.

Родители не воспринимали своих детей в качестве равных, в качестве субъектов (пусть и только начинающих свой долгий путь субъективации), сводили свои функции до обеспечения и надзора, «нависания» над ребенком, а потому разговор, требующий равенства просто из-за специфичности своей темы, не был возможен. На уровне школы этот разговор также не оказался возможным, и, бывало, «играли» чуть ли не целыми классами. Является ли обязанностью учителя, в особенности классного руководителя, воспитание детей (в рамках чего был бы возможен равный разговор о смерти), в противоположность отработке часов по предоставлению «образовательных услуг» – открытый вопрос. Более того, не все согласны с правом учителя на воспитание: в чем-то понима-

нии это уже вмешательство в пространство семьи. Наконец, ни родитель, ни учитель не сможет говорить о смерти с детьми, если он не в состоянии размышлять о конечности не только совместно с другими, но и в одиночестве. Такому сложно удивляться, ведь, как было сказано выше, в масштабах массовой культуры смерть влачит маргинальное существование. Степень деградации на «общекультурном» уровне особенно заметна по реакции общественности на случившееся, в которой большинство голосов призывают к ужесточению, ограничению и контролю, то есть к еще большему масштабу игнорирования субъекта. Это демонстрирует непонимание самой сути вопроса – того, что тяга к теме смерти выступает именно ответом на глухую стену контроля.

Литература

Гиренок Ф. И. Археография события // Событие и смысл (синергетический опыт языка): сб. / под ред. Л. П. Киященко, П. Д. Тищенко. М. : ИФ РАН, 1999.

Лакан Ж. Телевидение. М. : Гнозис, 2000.

Лоуэн А. Предательство тела. Екатеринбург : Деловая книга, 1999.

Мазин В. А. Введение в Лакана. М., 2004.

Мурсалиева Г. Группы смерти (18+) [Электронный ресурс] : Новая газета. 2016. № 51. 16 мая. URL: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18>.

Оришева О. Событие мысли и философия события [Электронный ресурс]. URL: <https://refdb.ru/look/3811308.html>.

Роганов С. Бессмертная смерть [Электронный ресурс] : Русский журнал. 2008. <http://hpsy.ru/public/x3445.htm>.

Санаев П. В. Похороните меня за плинтусом. М. : АСТ, 2009.

Флоренский П. А. Собр. соч.: Философия культа (Опыт православной антропологии) / сост., ред. игумен Андроник (Трубачев). М. : Мысль, 2004.

Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М. : Практика, 2007.

Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003 [Электронный ресурс]. URL: [yanko.lib.ru>books/philosoph...butie_i_vremya-81.pdf](http://yanko.lib.ru/books/philosoph...butie_i_vremya-81.pdf).

Юран А. О чередности самоубийств подростков [Электронный ресурс] : Expert Online. 2012. 20 июля. <http://expert.ru/2012/07/20/o-cherede-samo-ubijstv-podrostkov/>.